

О. Стрельникова
БОЖЕЛЕСЬЕ

*И лес является мне храмом,
Шум листьев — гимном торжества,
Смолистый запах — фимиамом,
А сумрак — тайной божества.*

В.Г. Бенедиктов

Почти девять лет я работаю в Юганском заповеднике. Все эти годы, приняв идею заповедности всей душой, полюбив навсегда этот таинственный край и его обитателей, я подспудно искала слово, способное отразить наше отношение к заповеднику. Вот уже который раз беру словарь В. Даля:

ЗАПОВЕДЫВАТЬ — повелевать, предписывать, приказывать, наказывать к неперемennomu исполнению; завещать какую обязанность... обязывать к чему заклятием; запрещать...

ЗАПОВЕДАТЬ ЛЕС — запретить в нем рубку; это делается торжественно: священник с образами или даже с хоругвями обходит его при народе и старшинах, поют «Слава в вышних» и запрещают въезд на известное число лет.

ЗАПОВЕДНИК — заповедный лес... пуца... моленьный лес... божелесье...

Вот оно — БОЖЕЛЕСЬЕ. Велик и могуч русский язык. В этом слове есть все — лес как храм и как божество, в нем слышны запреты и скрытая угроза за их несоблюдение, в нем сочетаются и языческая, и христианская мораль одновременно.

Занимает наше Божелесье довольно обширное пространство между двумя Юганями — Большим и Малым, левыми притоками Оби. В феврале вся эта страна безмятежно спит, укутанная белым покрывалом. Реки, ручьи, озера, скованные прочным льдом, надежно упрятаы под снегом; болота представляют собой совершенно безотрадную белую пустыню; и только лес стоит с величественным достоинством, сгибаясь под тяжестью снежных шапок...

С легким скрипом и шуршанием снег оседает под лыжами. Из сумрака пойменного леса я выхожу к реке. Синь неба над головой; и там, в этой чистой высокой синеве, ослепительно светит полуденное солнце, удивительно гармонично сочетаясь с белым, уже потолстевшим месяцем, — скоро полнолуние. Белая пелена снежного покрова на реке, в одном лишь месте нарушенная цепочкой заячьих следов, слегка слепит глаза. По-настоящему снег завораживает лишь в ясную лунную ночь. Вот когда открывается он во всей красе, миллионами искорок вспыхивая в лунном сиянии.

Зимний лес обманчиво кажется пустым, но вот послышались голоса — нестройным хором, переговариваясь звонкими нежными трелями, то там, то здесь снуют по пихте пухляки. Маленькая, серая, с черной шапочкой, нахохленная пичуга, не обращая на меня внимания, деловито ищет что-то между пихтовых хвоинок.

За валежиной свежий след — кажется, вот только что, перед моим приходом стоял здесь, чутко прядая большими ушами, лось. Он кормится ветками молодой пихты, сломанной ветром и древесной болезнью. Крона с одной стороны объедена начисто. Подхожу к дереву. Подо мной снег, толщиной около сорока сантиметров,

на рост не жалуюсь, и все же вытянутой рукой едва достаю до объеденных веток. Каждый раз поражаюсь размерам лесных великанов!

Пойма кончается — дальше мой путь лежит на «материк» — так называются у нас леса, лежащие выше пойменной террасы. Леса тут самые разные. Заболоченные кедрачи в некоторых случаях представляют собой совершенно жуткое зрелище. Они трудно проходимы даже зимой, когда скованные холодом заболоченные почвы и укрытые снегом нагромождения стволов, вывороченные, почти всегда с корнем, позволяют значительно сократить путь; а летом превращаются в участки, проходя которые, вспоминаешь всех святых. Здесь, в этих хитросплетениях крон и стволов, часто натыкаешься на сдвоенные следики — соболь.

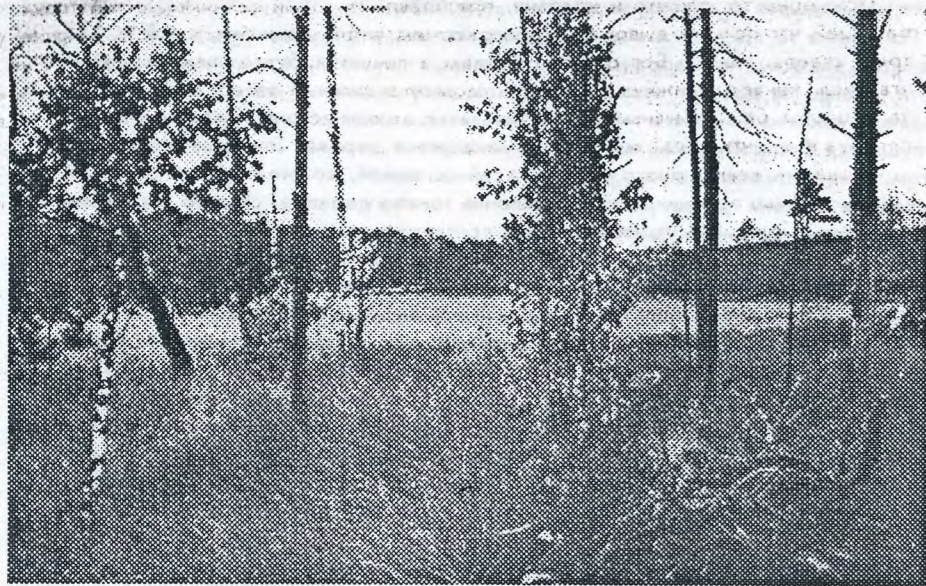
Примерно то же, что и кедрачи, представляют собой осинники, с той только разницей, что осина не выворачивается с корнем, а ломается, будто спичка, в нижней трети ствола. Не дай Бог оказаться в таком лесу в сильный ветер; ни за что не угадаешь, какая из ближних к тебе осин сломается, а какая устоит. Гул ветра в кронах заглушается непрерывным треском ломающегося дерева. Эти леса благодатны летом, в них почти всегда много черники, а сейчас, зимой, можно встретить разве что уцелевшие с осени грозди рябины. Наклонив тонкое деревце, срываю застывшие сладкие ягоды, привычно удивляясь — как достает их соболь!

Самые благодатные ландшафты, хотя довольно скучные для зоолога, — сосняки. Сосняки разные — от ягодниковых до заболоченных (рямов). Все они радуют глаз яркой желтизной и стройностью стволов, светлой зеленой раскидистых крон. Здесь можно проложить лыжню, более или менее похожую на прямую линию. Вот лыжня пересекает цепочку глухариних следов — три пальца вперед и один назад. Останавливаюсь, прислушиваюсь. Затем начинаю медленно продвигаться вперед — мне хочется увидеть эту большую черную птицу. Знаю, что она затаилась где-то между стволов, опустив к земле сложенный хвост и длинно вытянув шею, увенчанную головой с красными бровями и хищно изогнутым клювом. Но... делаю неосторожный шаг, и глухарь, тяжело сорвавшись с места, громко хлопая крыльями, проворно исчезает за деревьями.

Завершив довольно большой круг, опять выхожу к пойме. Здесь «материк» круто обрывается к реке. На самой верхушке яра на минуту задерживаюсь, вглядываясь в открывшуюся передо мной картину. Внизу извилистой белой лентой лежит Негусьях, на той стороне реки — сплошная чернота леса. Скорее знанием, нежели зрением, угадываю за лесом необъятные пространства своих любимых верховых болот. Там, среди засыпанных снегом моховых кочек, среди пожелтевших чахлых сосен, разрывая слежавшийся снег, ради нескольких веточек лишайника бродят самые уязвимые животные нашей тайги — северные олени. Увы, сейчас нельзя исключить вероятность того, что таежный северный олень повторит печально известную участь европейского бизона — зубра; дикую (условно дикую) популяцию которого пришлось восстанавливать на основе потомства, полученного в немецких и шведских зоопарках. Впрочем, сомневаюсь, что в каком-нибудь зоопарке мира имеется северный олень таежного подвида. А ведь это великолепное животное, удивительно приспособленное к условиям тайги, на порядок отличается от своего тундрового собрата. Но встреча с оленями мне предстоит завтра, а сейчас надо спуститься вниз, к реке. Мероприятие

это довольно рискованное — склон очень крут и сплошь заставлен препятствиями в виде елей и пихт. Снимаю лыжи и спокойно, на «пятой точке» спускаюсь вниз...

Солнце село за лес, и месяц, оставшись полноправным хозяином неба, залил все мягким сияющим светом. Чтобы не продираться сквозь дебри пойменного леса, скатываюсь на лед реки. Этот путь, хотя и длиннее, сейчас быстрее приведет меня к дому. Едва ступив на реку, вижу свежие волчьи следы. Один, довольно крупный, очевидно, принадлежащий самцу, упорно держится середины реки, второй — гораздо мельче, выводит довольно затейливые узоры — зигзагами, то отходя, то приближаясь к первому. И кажется мне, я вижу эти фигуры — огромный серый волчище (такого довелось видеть однажды) спокойной рысью бежит по реке, а рядом



с ним, заигрывая на ходу, небольшая рыжеватая самка, с коротким пушистым хвостом. Вот она отбежала в сторону, вот следы вновь сошлись, она делает прыжок, возвращается и вновь нападает. А вот, на повороте, снег сплошь утопан небольшим кругом — играли. Еще не дойдя до избушки, я уже знаю, что они не пересекут мою утреннюю лыжню — он вернется след в след, а она, все так же играя, рядом.

Что-то замеченное боковым зрением, отвлекает меня от чудесной игры распутывания следов. Недалеко высунувшаяся из-под снега небольшая птичья голова замерла напряженно. На той стороне реки, чуть дальше, вижу еще одну. Птицы буквально впилась в меня глазами и ждут. Мне жаль пугать устроившихся на ночлег рябчиков, но я знаю, что у них не хватит выдержки пропустить меня мимо. Делаю шаг, и с громким хлопанием крыльев две маленькие курочки скрываются в ближайшем черемушнике. Ничего, ночь светлая — усядутся снова.

Последний поворот — сейчас откроется чудная картина. На снежном пригорке стоит маленькая охотничья избушка, крытая берестой, без потолка, с кирпичной печуркой. Толстый слой снега на крыше подтаял снизу ледяной корочкой, а бока избушки сплошь обросли сосульками. Рядом лабаз на четырех ногах, в отличие от избушки, почти новый. Все это богатство досталось в наследство от хантов, что занимались промыслом до заповедника. Богатство... Если бы ни это, не знаю, что бы делали — может быть, в палатке жили, а, может, в Угуге, как многие наши коллеги.

Внутреннее убранство избушки ничуть не испорчено цивилизацией — двое нар вдоль стен, стол между ними, полка да лавочка у дверей. Единственная примета того, что на дворе все же XX век — три лампочки в патронах, соединенные проводом. Атавизм. Остался от тех времен, когда у нас был маленький движок, дающий свет долгими осенними вечерами. Отобрали, сказали — излишняя роскошь.

Вот в этом месте несколько лет кряду проводит шесть весенне-летне-осенних месяцев пара научных сотрудников заповедника со своими малолетними детьми. Что же, спросите вы, заставляет выносить все бесчисленные неурядицы подобного образа жизни? Когда ужасающе знойным сибирским летом маленькая избушка, лишенная потолка, раскаляется как жарочный шкаф, то понимаешь, что лучше отдать себя на съедение комарам, чем находиться внутри. Когда трижды в день надо развести костер, чтобы приготовить пищу. Когда, встав в пять часов утра, обнаруживаешь в паутиных сетях около сотни птиц, с которых надо снять не один десяток промеров, все записать, одеть на лапку колечко и отпустить (и все скорее-скорее, птицы долго не просидят в мешках, попросту сдохнут), и только к полудню начинаешь понимать, что, кроме птиц, есть еще и дети. Когда, каждый раз выходя на маршрут знойным летним днем, натягиваешь на себя энцефалитку из воздухонепроницаемого брезента и болотные сапоги; во всей этой амуниции топаешь добрый десяток километров по зыбкой болотной почве. И все это ради чего? Ради денег? Ну, что вы, право... Нам ой как далеко до среднероссийских ста долларов, про которые все толкует Гайдар. Ради славы! Какая слава, разве что скандалиста. Тогда ради чего? Ради любви к Отечеству, к природе! Этого не скажу, ибо разучились мы говорить искренне и верить говорящему разучились. Просто я не знаю, зачем мы это делаем. Также не знаю, зачем мой маленький сын с необыкновенным пристрастием слушает «Слово о полку Игореве» и просит почитать былины. Не знаю, зачем интересуют нас записи в ясных книгах и почему в конце XX века нам интересны опыты и наблюдения священника Тверитина, сделанные им в веке девятнадцатом. Хочется верить, что работа, выполненная с чистой душой и чистыми руками, обязательно будет востребована, пусть даже потомками.

Все эти мысли придут потом, когда уже затоплена печь, вскипячен чай, послушаны последние известия из Москвы и Тюмени, когда, казалось бы, пришла пора отдыха. Но мысли привычно возвращаются к думам о судьбе заповедника, о своей собственной судьбе. И лунный свет мешает спать.

Фото В.Назарова